



— Вы пишете про себя?

— Что вы, этого человека уже давно нет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ БОМБЕЖКА

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтораста от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они

неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим

образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных — Господи... помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил — Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого... От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накрепилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки.

В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог — ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже

разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы — ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней, против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу,

крик «Окружили!» — и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику. Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоставлен, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае, изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Незадолго до его смерти в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены. Вечер его устраивали тайком. Под видом его творческого отчета. Приглашали по ограниченному списку. Зощенко радовался, последнее время он находился в изоляции, нигде не бывал, никуда его не приглашали — боялись.

Вечер получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни», некоторые из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпры-

гнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

ЛЕТНИЙ САД

Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве Летнего сада.

Бен попал в зенитную часть, Вадим — в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастеров. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой. Весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка — б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах — стоптанные кем-то ботинки, обмотки и в завершение — синие диагональные галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную, потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел компьютером и заклинаниями вытащить нас троих из тьмы последнего нашего свидания на свет Божий, и я увидел себя в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались: неужели меня, как звал Вадим, вольноопределяющегося, не могли обмундировать как следует!

Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки? Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, прежде всего — грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение.

То есть рядовым в пехоту? — спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа,

пушечное мясо. Война — профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость. Доктор наук, а может, и членкор.

Я гордился их дружбой, тем, что допущен, на меня, рядового инженера, никто не возлагал... В их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной — аристократы. Во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен Первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку —

...от тайги
до британских морей
Красная Армия
всех
сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем.

Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние — в злобу и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, иступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все это уже когда-то было — война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

В ТО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки — «хочу», «дам», «не дам», «кому хочу — тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались «распечатанными», более или менее опытными.

Здесь же было другое. Совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудка-

ми. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.

День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться? Чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях, я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!» Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется, талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию, посмотреть на соперника. Действительно, оказалось — славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала, врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью.

В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман курт-

ки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфры-мухры. И в Дудергофе я куражился — перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт, к человеку возвращается прекрасное природное естество, поют без усталы свои серенады, дятлы отщелкивают-барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок, это весна переполняет жизненными силами, самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает.

Счастлирое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться.

Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву.

Потом я часто спрашивал себя: почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения?

Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару, счастье. Неожиданно раздалась голоса, резкие, грубые, им откликнулись другие, слева, справа, быстро приближаясь.

Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:

— Уходите, здесь сейчас нельзя.

— Что такое? — спросил я.

— Война, — коротко бросил он и куда-то побежал.

Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном.

Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Римма была еще соблазнительней.

Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем — с немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял, но порывы общей тревоги наконец настигли нас.

Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей.

С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили.

На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война — и без меня.

Трудно понять, чего тут было больше — тщеславия, патриотизма, авантюренности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливым случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. Авантюренность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеша, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем, для чего — я только что прочел его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предложении приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай. А может быть — вино, я не разобрался. С порога объявил об нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше, наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил «мальчиков».

Дальнейшее не запомнилось: хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию, без интереса спросил, где мы

учимся. Ничего не произнес, что бы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я перечитывал его книги с нежностью — этот малорослый неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой и как он умел читать чужие книги.

В ополчение меня не брали, я числился инженером в СКБ у Ж. Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять «броню». Меня зачислили в Первую дивизию Народного ополчения, «1-я ДНО». Я был счастлив. Чем?.. Любовь должна была бы удерживать меня, роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл.

На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты.

Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята — Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем Радиоинституте и держался за нее обеими руками.

— Защищать грудью страну я не собираюсь, — говорил он.

— Это же образное выражение, нельзя понимать буквально.

— Винтовку тебе дали? Нет? То-то. Чем же ты будешь воевать?

Ничто не могло остановить меня, я предстал перед Риммой в гимнастерке б/у, синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром, кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой — бутылку с зажигательной смесью.

Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начинаящий инженер, из семьи бедной, отец в Сибири, внешность — так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен, спрашивается — в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви.

То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты, во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол, в соседней комнате спали моя мать, сестра; проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным

рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви, восходящая ветвь круто поднималась к звездам, в бесконечность, казалось, так будет всегда.

Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки — все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения.

Неопытность была во всем — в войне, в любви, продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в ЗАГС. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны, немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего и у меня не было, к тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем четыре дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика.

Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовая сумма, но все же.